

ИМАГОЛОГИЯ

УДК 82-992

DOI 10.17223/24099554/1/1

К.В. Анисимов

ВОСТОЧНЫЙ ТРАВЕЛОГ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.: «ВООБРАЖЕНИЕ» ИМПЕРСКИХ ОКРАИН И ПОЭТИКА ПОВЕСТВОВАНИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ)*

В статье исследуется принципиальная неоднородность нарративной структуры русского восточного травелога середины XIX в. В качестве примера рассмотрены написанные в 1849 г. «Заметки на пути из Петербурга в Барнаул», принадлежащие перу П.И. Небольсина. К исследованию также привлечена монография автора о походе Ермака «Покорение Сибири. Историческое исследование» (1849). Опираясь на восходящие к М. Фуко идеи Э. Саида, Л. Вульфа и др. об ориентализме как «стиле интеллектуального обладания», автор показывает динамическое взаимодействие «рационального» и «сентиментального» начал в повествовательной структуре травелога Небольсина. Особенности нарратива понимаются как механизм «воображения» и интеграции периферийных территорий в пространство национальной культуры.

Ключевые слова: П.И. Небольсин, Н.М. Карамзин, ориентализм в литературе, травелог, жанр, стиль.

Пестрый разбил пермское войско,
взял пермскую твердыню, пленил
пермских воевод, и ему уже незачем
было разговаривать с пермяками. Из
людей, пусть и врагов, они превратились
для него просто в вещи, которые
надо было доставить в Москву.

А. Иванов. «Сердце пармы» (2003)

В словах повествователя из романа уральского писателя А. Иванова «Сердце пармы» отчетливо слышится эхо классики западной постколониальной литературы конца XX в. – книги Э. Саида «Ориен-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Проект № 14-14-24003.

тализм» (1978). С момента ее выхода в свет прошло немало времени, поэтому, избегая ненужного обсуждения теоретических оснований и весьма прозрачных политических подтекстов этого многократно комментировавшегося¹, неоднозначного, но весьма влиятельного труда, отметим, что Саид эффектно показал, как можно анализировать дискурсы подчинения, едва ли не главной составляющей которых было, по мнению автора, овнешнение описываемого культурного мира, т.е. превращение его в таксономию бессловесных *вещей*, право говорить *за* которые монопольно присвоено самим субъектом изучения. Ориентализм призван «обозначать, именовать, указывать, фиксировать то, что говорит и о чем думает словом или фразой, которые, как считается, либо полностью овладели реальностью, либо даже и есть сама реальность» [2. С. 114]. Один из последователей Саида назвал сумму этих приемов «стилем интеллектуального обладания», отослав читателя, как и его знаменитый предшественник, к идее М. Фуко о знании-власти [3. С. 40]. Действительно, предпринятые французским философом реконструкции «паноптических» практик дисциплинирования через наблюдение, вытеснившее общение [4. С. 292–293], обнаруживают много общего с ориентализмом в понимании Саида, при этом в более широком эпистемологическом контексте они соотносятся вообще с открытиями рационального мышления, заменившего системой нейтральных классифицирующих признаков поиск похожестей и символических соответствий, присущий архаическим формам производства знания [5. С. 85–90].

В еще не созданной истории русских восточных травелогов² описанный Фуко переход к рациональной эпистеме был крайне важен. В своем изначально осторожном, преимущественно меркантилистском отношении к главной русской восточной колонии – Сибири московские власти словно намеренно сторонились какой бы то ни было программности, отдав осмысление громадного массива североазиатских земель на откуп фольклорному мифотворчеству и официально (необычайно интересному, но при этом маргинальному) тобольскому летописанию XVII столетия. Как точно заметила В. Кивельсон, русские в Сибири даже стремились сохранить местные топонимы, отразив их в названиях новых городов и острогов [9. С. 244] (ср.: 10. С. 49–53), а Ю. Слѣзкин, в свою очередь, подчеркнул исходную веро-

¹ Обсуждение, повод к которому был дан русским переводом книги, см. в работе [1].

² Подступы к теме см. в работах [6, 7, 8].

терпимость колонизаторов (оборотную сторону безразличия, основанного всё на том же коммерческом интересе), сменившуюся решительной политикой обращения аборигенов в христианство только с приходом в начале XVIII в. «рациональной» эпохи [10. С. 68 и сл.]. Создать свою ориенталистскую символично-политическую программу, очевидно, не было сколько-нибудь значимой целью царского официоза.

Тем более показательно, что нечувствительность русских к географической символике восполнялась острым интересом европейцев – как жителей самой Европы, так и находящихся на русской службе. В их землеописательных сочинениях со времен С. Герберштейна и его «Записок о Московии» (1549) отчетливо проявилась первая повествовательная тенденция, определяющаяся установкой на *узнавание*. Так, в глазах Николая Спафария, отправленного в 1675 г. с дипломатической миссией в Китай, сибирская тайга превратилась в Эркинский лес («по-еллински “Эркиниос или”, а по-латински “Эрциниос силва”, се есть, Эркинский лес»), драгоценные собольи шкуры – в золотое руно, а Уральский хребет – в Гиперборейские горы [11. С. 40, 116, 37]. Характерной чертой таких атрибуций является невосприимчивость автора, в тексте которого они появляются, к «голосу» самой среды, несомненно располагавшей своими именами для этих реалий. В сущности, в основу данной стратегии характерным образом полагался акт присвоения имени. Подобно тому как человек христианской культуры получал имя в честь святого, ко дню поминовения которого была близка дата рождения, объекты отдаленного и малоизвестного географического мира наделялись своими «именами», заимствованными из репертуара классических греко-римских землеописаний. В обоих случаях ориентация на широко понимаемую культурную традицию и фактор переноса имени на основании «сходства» обуславливали идентификацию, с одной стороны, тех этических координат, в которых должна была проходить жизнь человека, подобящегося своему небесному покровителю, а с другой – координат хронотопических, в которых создатель травелога «размещал» события своего рассказа. Сам автор, выступавший здесь от лица некоего общеевропейского массива знаний, представал в роли посредника, соединяющего старые книжные сведения с объектами еще «не названного» природного мира.

С развитием рационализма задача *узнавания* сменилась целями *использования* и *контроля*. Репрезентативной традицией, реализующей эту установку, стала в русском культурном опыте XVIII в. череда

академических экспедиций, в которых немецкие ученые на русской службе и их местные ученики поставили перед собой цель дать всеобщее и насколько можно подробное освещение разнообразных частей России¹. Так, избрав «достоверность» «главным свойством» своего громадного сочинения и сославшись на «малое время», заставившее пренебречь «красивым слогом» [13. Предисловие, без пагинации], П.С. Паллас продемонстрировал особенности нового типа травелогового повествования, как и прежде не допускающего диалогизации (и вообще какой-либо трансформации) авторского сознания под воздействием местных сред, но при этом надежно закрепляющего исключительную зависимость науки от государства и монарха как его главы. Стилистика изложения была целиком производна от нового типа классифицирующего мышления, носитель которого не стремился «узнать» книжный прообраз данной вещи, а хотел определить ее саму, включив в как можно более обширную сравнительную таксономию. Последнее обстоятельство предопределило и практически бесконечную кумуляцию явлений, собранных в грандиозных фолиантах Палласова труда.

Сколь ревностно я в моей науке справедливость наблюдаю (да может быть к моему нещастию и слишком), столь во всем оном описании моего путешествия я не выступал из нея ни наималейше: ибо по своему понятию взять вещь за другую и уважить больше, нежели какова она есть в самом деле, где прибавить, а где утаить, я считал за наказания достойный проступок против ученого свету, наипаче между натуралистами, где известно, что важное и полезное что открыть не состоит во власти естествонаблюдателя; он ничего более не может, как благоразумно и тщательно рассуждая, передать нам свое точнейшее наблюдение, но и к оному еще случая искать должно [14. С. I–II].

Детальность наблюдений не только способствовала пополнению эмпирических запасов тогдашней науки, но также, поскольку на нить повествования последовательно нанизывались местности империи, словно наводила на территорию России оптику государственного надзора – условие будущего рационального использования описываемых пространств. И если у Палласа эта связь понималась по умолчанию

¹ М.Л. Пратт указала на то, что в общеевропейском контексте второй половины XVIII в. прежняя модель травелога как «истории выживания» в экстремальных и экзотических регионах сменяется типом научного путешествия, производным от естественной истории в духе Карла Линнея. Причем эта последняя отчетливо понималась современниками как привнесение порядка в хаос – и окружающей человека природы, и описывающего ее научного знания. Один из первых выдающихся путешественников по Сибири, И.Г. Гмелин, был коллегой Линнея, а другой, И.П. Фальк, – его учеником [12. Р. 24–26].

и не требовала специальных разъяснений, то у его последователей в XIX в., в пору цветения националистических нарративов, единство науки и власти даст читателю сцены научных исследований в буквальном смысле под государственными знаменами. В 1876 г. немецкий натуралист О. Финш с неподдельной экспрессией пишет о водружении флага молодого германского государства над лодкой, в которой он с коллегами совершал путешествие по северу Западной Сибири.

Куда только не устремляется немецкий пытливый дух, одушевленный лишь стремлением положить еще камень для сооружения великого космополитического храма, называемого наукой, – всюду трехцветный немецкий флаг служит ему знаменем и напоминает ему, сколько его соотечественников, руководимых тем же стремлением, плавало и плавает под ним [15. С. 371].

Любопытно, что ссылки на Палласа и Гмелина сделались в книге Финша знаком сопричастности давней традиции [15. С. 16–17; 48–49]. Эта провластная ориентация науки определила и известное, сравнительно с предыдущей традицией, усиление авторского голоса, прежде всего, в его идеологическом звучании: посредничество в поиске книжных аналогий сменилось всеобъясняющим пафосом рационализма.

Созданная Руссо, Стерном и др. сентиментальная картина мира в корне изменила не только статус травелога, сделав его литературной доминантой эпохи, но и главные структурные слагаемые жанра: образ автора, ставший более динамичным, и установку, нацелившую путешественника на понимание, вчувствование и своего рода психологическую интеграцию с обозреваемыми реалиями. Обязательный в контексте путешествия образ «Другого» обретал качества «конституирующего “Другого”», значимость которого для субъекта повествования проявлялась в диалогическом взаимодействии с ним, когда каждый из участников реального или мыслимого диалога являлся несамодостаточным и незавершенным¹. Русская историческая повестка дня первой половины XIX в. включила эстетические задачи травелога в более общую программу нациестроительства как межсословной и территориальной интеграции. По мысли В.М. Живова, сентиментальная стилистика в высшей степени отвечала требованиям национальной консолидации: социально обусловленные различия образовательных и культурных бэкграундов (последствия форсированной модернизации Петровской эпохи) преодолевались общностью сердечных по-

¹ Ориентированное на М. Бахтина понимание «Другого» в процессе выработки европейской идентичности см. в кн. [16].

рывов, разрушавших искусственные иерархии [17. С. 119; 122]. Чтобы проверить, насколько данная тенденция влияла на повествовательную поэтику травелога, мы хотели бы остановиться на фрагментах наследия П.И. Небольсина (1817–1893), историка-сибироведа и путешественника, создавшего несколько знаковых для своего времени сочинений.

Интеллектуальное и эстетическое «открытие» Сибири происходило у Небольсина в рамках двух жанровых и повествовательных стратегий – художественных зарисовок собственного путешествия [18] и научных штудий о походе Ермака [19]. Эта соотнесенность – дискурсивная и хронологическая (оба текста датируются 1849 г.) – представляется далеко не случайной. Небольсин руководствовался и обязательной в контексте натуральной школы рациональной посылкой устранить невежество читающей публики относительно восточных окраин государства¹, и романтическим стремлением к экзотике. При этом, будучи уже весьма далеким от образцов сентиментализма, достижения русской словесности этой эпохи он, несомненно, учитывал, что общие призывы быть в рассуждениях «ближе» «к природе» и «откинуть немецкие теории» [19. С. 71] подкреплены заметной связью с Радищевым как на идеологическом [21. С. 219], так и на сюжетном² уровнях его писаний (не говоря уже о том, что первая часть маршрута – это буквальное повторение радищевского путешествия из Петербурга в Москву).

Примечательно, что стилевые доминанты как формы репрезентации научной и художественной установок не распределены у этого автора полярно, а находятся в сложном взаимном сочетании. В научном тексте он неожиданно обращается к «простоте» и занимательности. Так, он пишет: сочинению о Ермаке «мы признали за необходимое придать самую простую форму рассказов, таким образом, чтоб каждая отдельная глава составляла отдельный рассказ, а не сухое ученое исследование, потому что здесь мы не пускаемся ни в какие учености, а тем паче в отвлеченности» [19. С. 3]. Однако художественный текст травелога, наоборот, насыщается им «слож-

¹ О поэтике травелогов 1840–1850-х гг., преобразовавших наследие научного путешествия в «физиологию» новейшего очерка, см. работу [20. С. 6, 8, 13].

² Отметим эпизод из травелога, названный «Дневник неизвестного господина», который представляет собой навеянное «Путешествием из Петербурга в Москву» вторжение «чужого» текста в свой собственный [18. Т. 64. № 6. С. 185–193]. Ср. найденные радищевским путешественником «бумаги моего друга», содержащие «Проект в будущем». Кроме того, отметим влияние со стороны Карамзина (подробнее см. ниже), «Бедная Лиза» которого упоминается на страницах записок о путешествии [18. Т. 63. № 4. С. 238].

ными» систематизациями наблюдаемого материала в виде таблиц, словно составленных кабинетным ученым. При этом опять-таки именно научный труд может неожиданно продемонстрировать следы «травелогового» авторского сознания, исходящего из того, что «узнать» – значит не просто систематизировать и сопоставить, а прежде всего побывать, наблюдать *лично*. Частным моментом этой установки историографа является его дискуссия с Карамзиным, который в глазах Небольсина был не просто ученым, но именно столичным интеллектуалом-педантом.

Наконец судьба привела нас самих в Сибирь. Видели мы Тобол, видели Иртыш, гуляли по великой реке Оби, плавали и по Енисею, и по Ангаре, сами живали в лесах, по неделям питались едва не одними сухарями, потерлись между простым народом, прислушались к его рассказам о Ермаке, ознакомились с его духом, и ошупью дошли, кажется, до возможности понять, наконец, ермаковы походы, отвыкнуть мерять всё на петербургскую мерку и смотреть на все происшествия глазами столичного жителя половины XIX столетия [19. С. 5].

В стилистико-повествовательных стратегиях преломляется четкая историко-культурная позиция писателя, заключающаяся в стремлении интегрировать Сибирь «внутри» общерусской воображаемой географии – связь этой тенденции со сценариями национальной консолидации начала – середины XIX в. представляется очевидной (ср.: 22. С. 226–227)¹. Ермак в этом контексте оказывался игроком той же национальной пьесы, что и Кузьма Минин, князь Пожарский, Иван Сусанин и другие персонажи русского «героического» пантеона. Итак, точкой отсчета, по Небольсину, является равнозначность Сибири XVI–XVII вв. иноплеменным и иноконфессиональным землям Европы.

Со словом «Сибирь» соединялось значение, близко подходящее к тому, какое в старину мы придавали слову «немцы». На западе и Шведы и Французы, и Цесарец были, в понятиях русского, неученого народа, – одна нехристь, те же немцы. Так и на дальнем северо-востоке: и Остяк, и Вогулич, и Киргиз, и Нагаец – всё это была та же нехристь, всё одна чужь заблудящая, басурманы из Сибири [19. С. 30].

Понимая разницу между морскими и сухопутными империями («На Западе территории европейских государств <...> должны будут разомкнуться и разделиться в другие края света <...> а наша мать святая Русь так обширна, что и через триста лет громадная русская национальность останется по-прежнему цела и нераздельна» [19. С. 145]), Небольсин рисует картину обрусения Сибири, уже свер-

¹ Подробнее о конструировании образов Сибири в русском политическом и культурном сознании XIX в. см. работы [23, 24, 25, 26].

шившегося в историческом прошлом и настоящем, но только до сих пор не оцененного современниками, которые продолжают рассматривать огромное государство как мозаику из плохо пригнанных друг к другу, малознакомых и взаимно отчужденных компонентов.

В самой же Сибири народ русский <...> дружески сближался с покоренными племенами, неведомо самому себе прививал к ним свои поверья и обычаи, незаметно, без насилий, подавлял их национальность – если только национальность может существовать у диких племен, к которым самое слово «нация» неприменимо – и, поставив их, сколько можно было, в уровень с самим собою, довел их до того, что Сибирь, за исключением крайних пределов севера и юга, почти совершенно обрусела... [19. С. 113].

Однако это чудесное преобразование лишь оттеняется невежеством современной публики, представители которой основательно будут говорить о взятии Кохогуакана, Ицтапалана, о заселении островов Натуна, о подвигах французов в Алжире, об особенностях природы в Новой Зеландии... но какие обстоятельства сопровождали покорение приамурских стран, какие теперь есть у нас колонии в Киргизской степи – многие ли это у нас знают?.. У нас нет даже справедливых сказаний о том, как Ермак покорил Сибирь! [19. С. 2].

Таким образом, в аспекте адресации текст Небольсина наводит социальный мост между интеллигентной публикой и «народом», а на уровне содержания рассказывает о подобном воссоединении, уже состоявшемся в отечественной истории, в сценариях которой, как ему кажется, Сибирь топографически и этнографически словно «влилась» в Россию. Нам осталось подробнее разобрать репрезентирующий эти коллизии стилистико-повествовательный элемент дискурса Небольсина.

В приведенной выше цитате о русификации Зауралья важным концептом является слово «дружески», относящееся к «сближению» русских с аборигенами. В отличие от старых стратегий символического узнавания и рационального классифицирования освещение «дружбы» затребует мелодраматические стилиевые и сюжетные повороты: наследие сентиментализма в этом отношении будет постоянно актуальным. В отсутствие надежных сведений о походе Ермака Небольсин предлагает своему читателю лишь догадываться о сюжетах в духе «Бедной Лизы», но только из эпохи конца XVI в.

Ермак приучал к себе татар, ладил с ними и умел расположить их в свою пользу. Добрые татарки, вероятно, играли тут тоже не последнюю роль. Повествования о расселениях русских по Сибири, в продолжение последующего столетия, наводят нас, стороною, на мысль, что туземные обитательницы этих краев много делали добра нашим героям; нет сомнения, что многими удачами казаки были обязаны именно женщинам. Поэтому мы никак не можем верить в то, во что веровал Карамзин, именно в удивительную неземную чистоту нравов наших удалцов в отношении к сибирским красавицам и в непонятную, непостижимую

скромность, при которой наши казаки не смели будто бы «тронуть ни волоса у местных жителей» [19. С. 91].

Критика Карамзина, автора главной русской сентиментальной повести, здесь, как несложно понять, ведется с одной из позиций самого карамзинского мира: создатель грустного повествования о дворянине и крестьянке противопоставляется верноподданному историографу государства Романовых.

Финал травелога, писавшегося одновременно с научным опусом о Ермаке, выдержан в сходной идеологической тональности: обозревая алтайские горные заводы, Небольсин пишет об их промышленном экспорте в столицу и сравнивает Барнаул с уголком Петербурга [18. Т. 67. № 12. С. 311–312]. Восторжествовав на окраинах империи, культура словно выравнивает статусы центра и периферии. Однако при всей своей идеологической притягательности данная ситуация скорее идеальна, и потому заметки об этом последнем пункте путешествия окрашены двойственным чувством: налицо быстрое развитие южной Сибири, но также очевиден и сохраняющийся барьер между нею и Европейской Россией, поэтому авторское сознание начинает колебаться между оценочными полюсами сходств и отличий. «Ну что, сударь мой, как вам наша Сибирь понравилась? Полюбился ли вам Барнаул наш? – спросил меня Степан Алексеич <...> – Нешто, Степан Алексеич, недурно, да всё оно, знаете, как-то не то. Как волка ни корми, а он всё в лес смотрит» [18. Т. 67, № 12. С. 312]. Успешно осуществленное на примере Ермака соединение имперского сюжета о покорении с идеей национального синтеза было обусловлено гибкостью и податливостью самого человеческого материала, анализ которого у Небольсина-историка, последовательно стремившегося, как ранее и Карамзин, индивидуализировать Ермака, был направлен на обоснование величия самого характера завоевателя, побеждавшего не столько военной силой, сколько мощью своей натуры. Способный к душевным метаморфозам, драматически раздвоенный и трагически обреченный, Ермак одерживал прежде всего моральную победу над своими противниками. В этом отношении он резко контрастировал с испанскими колонизаторами: доказательствами разительного отличия Ермака от Писсаро и Кортеса Небольсин посвятил несколько специальных страниц своей книги [19. С. 135–137]. В сюжете о духовной победе цивилизационные отличия делались несущественными по тем же причинам, по каким у Карамзина крестьянки «любить умели» принципиально так же, как и баре. Однако именно здесь наве-

янная, казалось бы, личным опытом сибиреведа-путешественника монография Небольсина превращалась в интеллектуальную спекуляцию: он видел Сибирь, но не видел Ермака; территория была предметом реальных наблюдений, но ее покоритель – объектом увлеченного идеологического фантазирования. «Простота» стиля научной книги трансформировалась в более сложную повествовательную амальгаму травелога.

В отличие от работы, посвященной взятию Сибири, авторская установка в «Заметках на пути из Петербурга в Барнаул» очевидно двойственна. Стилизованные «простота» и верность «природе», присутствующие, впрочем, и здесь, дополняются выдержанными в строгом академическом духе выкладками и классификациями. Показательна сама артикуляция научного подхода. Во-первых, Небольсин сетует на то, что край, располагающий прекрасными ландшафтами, тем не менее совершенно дик и по этой причине может привлечь к себе пока только путешественника, едущего с определенным практическим заданием:

А, впрочем, право, здесь прекрасно: когда-нибудь, лет через сто, или и раньше, при каком-нибудь естественном перевороте, например, если благотельный Ледовитый океан градусов хоть на десять затопит наш безлюдный север Сибири, когда жизнь будет бить ключом на юге ее, когда будут проложены шоссейные дороги по здешним дебрям и лесам – что за счастливы будут здешние обитатели и какая толпа будет бродить здесь путешественников. А теперь разве только какой-нибудь особый интерес заставит любопытного заглянуть в эти края [18. Т. 67, № 11. С. 107].

Во-вторых, описание Сибири должно быть, по Небольсину, прежде всего профессиональным текстом, основанным на *знании*. В форме сожаления о недостатке такового эта мысль сообщается читателю в следующем пассаже:

...Привел нам Бог неожиданно видеть далекие края нашего отечества. И что ж мы видели? Мы видели то, чего растолковать не можем, а не можем растолковать виденного, потому что «этому мы не учились». И мы воображали, что мы правы?! Но не пропади у нас многие годы молодости в пустоте и ничтожности, умей мы дорожить временем, посвети мы хоть половину попусту погубленных свободных часов дельным занятиям – не пришлось бы нам тяжело скорбеть за потраченную возможность собрать добрые плоды прожитого прошедшего [18. Т. 67, № 12. С. 300].

Чертами, подтверждающими эти компоненты авторского сознания, являются ритуальные ссылки на немецких академиков XVIII в. [18. Т. 64, № 5. С. 34; Т. 65, № 8. С. 170], обширные статистические

таблицы, которыми пестрит текст, а также полная уверенность в том, что местная культура произрастает исключительно от усердия центральных властей.

...Повсюду, как видится, одно только правительство кладет прочное основание всему и служит примером частным лицам к утверждению и распространению в далеком крае разнородных отраслей промышленности... [18. Т. 66, № 10. С. 278–279].

Малознакомое пространство словно побуждает его исследователя набросить на него сетку рубрик, колонок и цифр, спрятав личную эмоцию за их нейтральностью и универсальностью.

Характерно, что этот перелом в повествовательной стратегии делается заметным именно по мере продвижения путешественника на восток. Небольсин оформляет первые разделы своего травелога как насыщенные разговорами со спутником и местными жителями бытописательные сцены с отчетливым кулинарным акцентом – прекрасно понимая, что формальное описание прилегающей к столицам провинции давно дано и что если и есть в ней что-то неоткрытое, то это сам народ в его повседневных свойствах. Однако по мере продвижения к Уралу стремление наблюдать однородное русское население натывается на разнообразие этнокультурных реалий Востока; единство сменяется пестротой.

...Пустившись в первый раз вниз по матушке Волге, предаешься мечтам о том, что наступает наконец пора взглянуть на коренную Русь, во всей красе русской национальности. <...> думаешь себе, что вот, авось Бог даст наткнуться на что-нибудь такое, что напомнило бы Москву с ее боярами и фабриками, и Торжок с его престолюдьем, и старину, и русский ум, и то, и се... тщетные ожидания! Именно тут-то, по моей дороге, и не было того, на что я рассчитывал: просто дичь какая-то... и по весьма естественной причине: я ехал почтовой дорогой и кроме станций, почтовых смотрителей, ямщиков, татар, мордвы, черемис, чувашей и вотяков, да изредка барщинского мужика, не встречал ничего; что ж тут утешительного? [18. Т. 64, № 5. С. 1].

Примечательно, что здесь же наряду с описанием разнообразия этнического Небольсин вспоминает и о многообразии социальном:

У нас на Святой Руси столько разных наименований наших сословий, пользующихся одно перед другим привилегиями, что одно исчисление этих делений, разделений, подразделений и как будто отдельных корпораций могло бы составить довольно любопытную страницу [18. Т. 64, № 5. С. 5].

Наконец, картины этой вариативности, заставляющей путешественника ощутить свою отчужденность от всех этих не укладываю-

щихся в какую-либо систему хаотических множеств, провоцируют его восклицание о дикости восточных регионов империи.

Вот я теперь ровно за две тысячи верст от Питера; мне остается еще столько, да еще полстолька. Что же я должен встретить в Перми, за Пермью и так далее? Вероятно, дичь страшнейшую» [18. Т. 64, № 5. С. 7].

Сознание путешественника претерпевает раздвоение: с одной стороны, он восторгается величественными ландшафтами Урала, противопоставляя их скучным видам Западной Европы, а с другой – в скором времени в Сибири вдруг начинает тосковать по уюту тех же самых близких ему, освоенных и окультуренных европейских мест. Ср.:

...Серьезный с вида русский крестьянин, чисто и опрятно одетый, молодеватее и умнее любого немца; что белокурая или черноглазая кержачка, радушно обслуживающая путнику всем по возможности, красивее рыженькой немочки Рейна <...> необъятные русские леса с их вековыми кедрами, соснами, с медведями и соболями как-то больше и понятнее говорят русской душе, чем все эти сады и рощицы, в которых рука садовника изнасиловала природу и все живое подчинило бестолковым формальностям и стеснительным, без нужды, условиям [18. Т. 64, № 5. С. 11–12].

Что за тоска, что за мученье ехать степями от Тобольска до Томска! Едешь день, едешь два, едешь неделю – и всё одно и то же и, кроме раскинутых селений на дальних расстояниях одного от другого – не встречаешь ничего. Дорога хороша, травы гигантского размера, но ведь это нисколько не утешает путника, которому хотелось бы леса, гор, хорошеньких пейзажей и, главное, удобств в дороге. А какие здесь удобства? [18. Т. 64, № 5. С. 23].

Четко заявленная здесь антитеза *природы* и *культуры*, положительный и отрицательный акценты внутри которой, впрочем, могут меняться по произволению путешественника и в зависимости от его душевного состояния, последовательно руководит важным правилом наррации: экспансия природы в наблюдаемой реальности компенсируется наукообразием стилистики травелога. Недостаток «культуры» вокруг повествователя уравнивается намеренным «культуроцентризмом» текста: «сибирские» разделы путешествия Небольсина наполняются обширными историческими компиляциями и статистическими таблицами, соответственно человек в его сентиментально-психологическом измерении уходит из фокуса авторского внимания.

Впрочем, конечно же, речь не идет о внезапном и полном переходе повествователя на язык схем и цифр. Зазор для прежней стилистики сохраняется, ибо, как показал материал книги Небольсина о Ермаке, историческая интеграция, «сборка» разноликкой империи в национальную целостность продолжает оставаться главной темой исследова-

теля. Тем более важны прецеденты «психологизации» именно сибирских страниц его травелога. Обратим внимание на следующий эпизод.

К востоку от Оби путешественник остановился на станции, хозяином которой был пожилой сибиряк Архип Сысоич, живший там с женой и двадцатилетней дочерью Глашей. Сысоич совсем не похож на Самсона Вырина, он стар, кряжист, умен, но Глаша столь же смела, как и Дуня из пушкинской повести. Встреча и беседа героя с сибирским станционным смотрителем, в которой последний рассказывал путнику о беззакониях старой зауральской жизни, окольцована двумя «чувствительными» сценами, в которых главную роль играет Глаша. Вначале она целует незнакомца-путешественника, а затем, после отцовских рассказов, предлагает ему побыть «у нас денька два» [18. Т. 64, № 6. С. 184], после чего – бежать с нею на золотые прииски, куда отправлялся герой. Инвертированный пушкинский сюжет соединен здесь со стилистикой в духе Карамзина – сдержавшему себя путешественнику Глаша, которой уже подыскали жениха «гадкого-прегадкого», на прощанье говорит: «Ты, как черствый хлеб, жёсток. Но Христос с тобой! иди... скажи мне только одно слово... только одно слово... Вспомнишь ли ты хоть раз про бедную Глашу?» [18. Т. 64, № 6. С. 184]. Цель достигнута: спустя четыре года герой помнит о встреченной им в Сибири девушке. «Да, прошло уж четыре года этому довольно обыкновенному в дороге происшествию, а все хорошенькая Глаша не выходит у меня из памяти» [18. Т. 64, № 6. С. 184].

Истории подобного рода решительно сокращают психологическую дистанцию между повествователем и теми реалиями, которые он описывает, делают его не только аналитиком, но и участником местной жизни, вводя простого читателя в житейскую обстановку отдаленного мира словно изнутри и создавая эффект психологической сопричастности ей. Напротив того, наукообразное оформление травелогового нарратива деиндивидуализирует образ повествователя, как, впрочем, и образ самого региона, трансформируя его, условно говоря, из «ландшафта» в «территорию».

Производство ощущения эмоциональной сопричастности как фрагмент дискурса записок о путешествии, принадлежащих перу Небольсина и многих его предшественников и современников, отсылает нас к выделенной в самом начале статьи традиции *узнавания*, в рамках которой новое географическое знание проецировалось на *loci communes* античных землеописаний. Тонкая связь между нею и анализировавшимся здесь материалом просматривается в сфере

взаимодействия автора с теми литературными источниками, которые он считает для себя классическими. Как мы уже говорили выше, писатель XVI–XVII вв., воодушевленный идентификацией, допустим, Рифейских гор на картах «Тартарии», соотносил свои «находки» с общеевропейским ресурсом знаний, подбирая реальное соответствие тому или иному образу. В данном случае момент узнавания также присутствует, но он относится не к конкретике образа, а к преемственности стиля в самом широком смысле этого слова. Характерное для карамзинского травелога обозрение окружающего мира как бы сквозь призму прочитанных книг [27. С. 531] передано и последователю Карамзина Небольсину (отмеченные полемические выпады имеют частный характер), демонстрирующему своему читателю палитру заимствований из русской литературы предшествующего периода. И если в рамках архаической стратегии узнавания новооткрытые земли «подключались» к объяснительным схемам в качестве референтов, «взыскующих» свои знаки, если в рациональную эпоху они делались объектом описания при помощи абстрактного и принципиально «всемирного» языка науки, то в XIX в., как показывают приведенные примеры, инструментом означивания выступает сама национальная литература, в мотивной оптике которой воссоздается образ отдаленного региона, сложно и поэтапно расстающегося со своим статусом отчужденности.

Литература

1. Бобровников В. Почему мы маргиналы? Заметки на полях русского перевода «Ориентализма» Эдварда Саида // *Ab Imperio*. 2008. № 2. С. 325–344.
2. Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб., 2006. 637 с.
3. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2004. 560 с.
4. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М., 1999. 479 с.
5. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1994. 407 с.
6. Kalinowska I. Between East and West: Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the Orient. Rochester, 2004. 200 p.
7. Schimmelpennick van der Oye D. Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration. Yale, 2010. 298 p.
8. Иванова Н.В. «Литературные путешествия» в Сибирь: поэтика «Писем с берегов Лены» Н.С. Щукина и «Писем из Сибири» П.А. Словцова // *Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. Русская филология*. 2010. № 1. С. 186–192.
9. Кивельсон В. Картографии царства: Земля и ее значение в России XVII века. М., 2012. 360 с.
10. Слэзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008. 512 с.
11. Спфарий Н.М. Сибирь и Китай. Кишинев, 1960. 516 с.

12. Pratt M.L. *Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation*. 2nd ed. London, New York, 2008. 276 p.

13. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. СПб., 1773. 657 с. (первой пагинации).

14. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Ч. 3. Половина 1. СПб., 1788. 624 с.

15. Фини О., Брэм А. Путешествие в Западную Сибирь. М., 1882. 578 с.

16. Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004. 336 с.

17. Живов В.М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91 (3). С. 114–140.

18. Небольсин П. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул // Отечественные записки. 1849. Т. 63, № 4; Т. 64, № 5; Т. 64, № 6; Т. 65, № 8; Т. 66, № 9; Т. 66, № 10; Т. 67, № 11; Т. 67, № 12.

19. Небольсин П. Покорение Сибири: Историческое исследование. СПб., 1849. 146 с. первой пагинации; 112 с. второй пагинации (приложения).

20. Проценко Е.Г. Литература «путешествий» в России в 1840–1850-е годы: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984. 16 с.

21. Мирзоев В.Г. *Историография Сибири*. М., 1970. 391 с.

22. Ремнев А. Вдвинуть Россию в Сибирь: Империя и русская колонизация второй половины XIX – начала XX века // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 223–242.

23. Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 712–729.

24. Bassin M. *Imperial Visions. Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865*. Cambridge, 2004. 329 p.

25. Тюпа В.И. Сибирский интертекст русской литературы // Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2006. С. 254–264.

26. Родигина Н.Н. «Другая Россия». Образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX века. Новосибирск, 2006. 343 с.

27. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Лотман Ю.М. Карамзин. СПб., 1997. С. 484–564.

THE EASTERN TRAVELOGUE OF THE 19TH-CENTURY RUSSIAN LITERATURE: "IMAGINATION" OF IMPERIAL PERIPHERIES IN THE PERSPECTIVE OF NARRATIVE POETICS (INTRODUCTORY OBSERVATIONS).

Imagology and Comparative Studies, 2014, 1, pp. 5–21. DOI 10.17223/24099554/1/1

Anisimov Kirill V. Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia). E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

Keywords: P.I. Nebolsin, N.M. Karamzin, orientalism in literature, travelogue, genre, style.

The article investigates the principled heterogeneity of the narrative structure of the Russian mid-19th-century travelogue. "Notes on the Way from St.-Petersburg to Barnaul" written by P.I. Nebolsin in 1849 are taken as an example. M. Foucault's observations about epistemological boundaries between pre-rational, classical and post-classical cultural stages became the reference point in forming analytical instruments. Differences in relations between "words" and "things" define the stylistic peculiarities (symbolic correspondence vs. taxonomy) and the author's position as well. Eastern travelogue is perceived in the article as an aesthetic and, in a broader sense, intellectual experience of imagining imperial space in the 18th– and 19th-century Russian culture; an epistemological shift from a rational classifi-

cation to psychologization of the narrative, larger manifestation of the author's image and broadening of the dialogue potential of the narrative give a dynamic character to this tradition. The Russian eastern travelogue of the 18th and 19th centuries turns from a scientific-descriptive to an art dominant under the influence of sentimental poetics which cultivated the theme of surmounting social borders and, therefore, as V.M. Zhivov has shown, particularly applicable to the national discourse of integration, e.g., integration of diverse spaces of imperial type into a homogeneous entity. P.I. Nebolsin's narrative orientation was manifested in texts written simultaneously but belonging to essentially different discourses: namely, in his travelogue and scientific monograph about Yermak's campaign. The paradoxicality of this correlation was expressed, on the one hand, in a distinct "lowering" of the style of an academic research to a "simple story" but, on the other hand, in interpolations of travelogue narration by large scientese fragments containing statistical tables and spacious historical compilations. Besides, Nebolsin had a discussion with Karamzin's tradition not to negate it but rather to intensify its provisions to such a degree of radicalism which was not characteristic of Karamzin himself. The question is particularly about the criterion of the researcher's literal physical presence among the Siberian realities he depicts in his academic work. It is not difficult to understand that travelogue orientation effusively invaded the scientific text. The narrative palette of the travelogue itself, along with "scientific" fragments, contains a number of echoes of the early 19th-century prose in which the distance between the narrator and the character is greatly shortened. An Orientalist approach to the territory which, according to E. Said, presupposed its study and control gives place to the dialogue uniting the traveler and his personages in the same emotional space. Considering the fact that these plots are addressed intertextually to the literature of the first third of the 19th century, the key resource with which the image of Siberia is reconstructed are the motifs of literary origin.

References

1. Bobrovnikov V. Pochemu my marginaly? Zаметki na polyakh russkogo perevoda "Orientalizma" Edvarda Saida [Why are we outcasts? The notes in the margins of the Russian translation of *Orientalism* by Edward Said]. *Ab Imperio*, 2008, no. 2, pp. 325-344.
2. Said E. *Orientalizm: Zapadnye kontseptsii Vostoka* [Orientalism: Western concept of the East]. Translated from English by A.V. Govorunov. St. Petersburg: Russkiiy Mir Pulp., 2006. 637 p.
3. Wolfe L. *Izobretaya Vostochnuyu Evropu: Karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniya* [Inventing Eastern Europe: The map of civilization on the mind of the Enlightenment]. Translated from English by I. Fedyukin. Moscow: NLO Publ., 2004. 560 p.
4. Foucault M. *Nadzirat' i nakazyvat': Rozhdenie tyur'my* [Discipline and Punish: The Birth of the Prison]. Translated from French by V. Naumov. Moscow: Ad Marginem Publ., 1999. 479 p.
5. Foucault M. *Slova i veshchi: Arkheologiya gumanitarnykh nauk* [The Order of Things: An Archaeology of Human Sciences]. Translated from French by N.S. Vizgin, N.S. Avtonomova. Moscow: A-cad Publ., 1994. 407 p.
6. Kalinowska I. *Between East and West: Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the Orient*. Rochester: University of Rochester Press, 2004. 200 p.
7. Schimmelpennick van der Oye D. *Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration*. Yale: Yale University Press, 2010. 298 p.
8. Ivanova N.V. "Literaturnye puteshestviya" v Sibir': poetika "Pisem s beregov Leny" N.S. Shchukina i "Pisem iz Sibiri" P.A. Slotvsova [The "literary travel" to Siberia: the poetics of "Letters from the banks of the Lena" by N.S. Shchukin and "Letters from Siberia" by P.A. Slotvsov]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo unibersiteta. Russkaya filologiya – MSRU Bulletin. Russian Philology*, 2010, no. 1, pp. 186-192.

9. Kivelson V. *Kartografii tsarstva: Zemlya i ee znachenie v Rossii XVII veka* [Cartographies of Tsardom: The Land and Its Meanings in Seventeenth-Century Russia]. Translated from English by N. Mishakova. Moscow: NLO Publ., 2012. 360 p.
10. Slezkine Yu. *Arkticheskie zerkala: Rossiya i malye narody Severa* [Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North]. Translated from English by O. Leontieva. Moscow: NLO Publ., 2008. 512 p.
11. Spafariy N. *Sibir' i Kitay* [Siberia and China]. Chisinau, 1960. 516 p.
12. Pratt M.L. *Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation*. London, New York: Routledge, 2008. 276 p.
13. Pallas P.S. *Puteshestvie po raznym provintsiyam Rossiyskoy imperii* [A Journey in Various Provinces of the Russian Empire]. Translated from German by F. Tamanskiy. St. Petersburg, 1773, pt. 1, 657 p.
14. Pallas P.S. *Puteshestvie po raznym provintsiyam Rossiyskogo gosudarstva* [A Journey in Various Provinces of the Russian Empire]. Translated from German by F. Tamanskiy. St. Petersburg, 1788, pt. 3, 624 p.
15. Finsch O., Bram A. *Puteshestvie v Zapadnuyu Sibir'* [A Journey to the Western Siberia]. Translated from German. Moscow, 1882. 578 p.
16. Neumann I. *Ispolzovanie "Drugogo": Obrazy Vostoka v formirovaniy evropeyskikh identichnostey* [Uses Of The Other: "The East" in European Identity Formation]. Translated from English by V. Litvinov, I. Pilshchikov. Moscow: Novoe izdatel'stvo Publ., 2004. 336 p.
17. Zhivov V.M. *Chuvstvitel'nyy natsionalizm: Karamzin, Rostopchin, natsional'nyy suverenitet i poiski natsional'noy identichnosti* [Sensitive nationalism: Karamzin, Rostopchin, national sovereignty and the search for national identity]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2008, no. 91 (3), pp. 114-140.
18. Nebolsin P. *Zametki na puti iz Peterburga v Barnaul* [The notes on the way from St. Petersburg to Barnaul]. *Otechestvennye zapiski*, 1849, nos. 63 – 67.
19. Nebol'sin P. *Pokorenie Sibiri: Istoricheskoe issledovanie* [The Conquest of Siberia: A Historical Research]. St. Petersburg, 1849. 146 p.
20. Protsenko E.G. *Literatura "puteshestviy" v Rossii v 1840-1850-e gody*: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Travelogues in Russia in 1840–1850. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Leningrad, 1984. 16 p.
21. Mirzoev V.G. *Istoriografiya Sibiri* [The Historiography of Siberia]. Moscow: Mysl' Publ., 1970. 391 p.
22. Remnev A. *Vdvinut' Rossiyu v Sibir': Imperiya i russkaya kolonizatsiya vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka* [Push Russia to Siberia: The Russian Empire and the colonization in the second half of the 19th – early 20th century]. In: Gerasimov I., Glebov S., Kaplunivskiy A., Mogilner M., Semenov A. (eds.) *Novaya imperskaya istoriya postsovet-skogo prostranstva* [The new imperial history of the post-Soviet environment]. Kazan: Ab Imperio Publ., 2004, pp. 223-242.
23. Lotman Yu.M. *O russkoy literature* [On the Russian literature]. St. Petersburg, 1997, pp. 712-729.
24. Bassin M. *Imperial Visions. Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840-1865*. Cambridge, 2004. 329 p.
25. Tyupa V.I. *Tyupa V.I. Analiz khudozhestvennogo teksta* [The analysis of a literary text]. Moscow: Akademiya Publ., 2006, pp. 254-264.
26. Rodigina N.N. *"Drugaya Rossiya". Obraz Sibiri v russkoy zhurnal'noy presse vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka* [“A Different Russia”. The image of Siberia in the Russian journals in the second half of the 19th – early 20th centuries]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University Publ., 2006. 343 p.
27. Lotman Yu.M., Uspenskiy B.A. *"Pis'ma russkogo puteshhestvennika" Karamzina i ikh mesto v razvitiy russkoy kul'tury* [“Letters of a Russian Traveler” by Karamzin and their role in the development of Russian culture]. In: Lotman Yu.M. *Karamzin* [Karamzin]. St. Petersburg: Iskustvo Publ., 1997, pp. 484-564.